

О КУЛЬТУРЕ И СУДЬБАХ ЦАРСТВЕННОГО ЛЮБОПЫТСТВА  
Размышление над метафорой «философ на троне»,  
о просвещении и творческом непостоянстве

*Страны, где уровень свободы был настолько велик, что породил идею просвещения, сами в этой идее не нуждались. Но страны, которым предстояло эту идею воспринять, были к ней не готовы. Просвещение почти везде оказывалось несвоевременным, даже ненужным.*

Марина САВЕЛЬЕВА, 2006

Трон под философом это затёртая метафора. Вернее, несимметричная метонимия, словосочетание исторически неудачное, семантически неточное: либо философ, либо на троне. Если на троне, то не философ, ибо «дело философии просто и скромно: не увлекай меня на стезю гордыни». Так считал, сам будучи на троне, философ Марк Аврелий. Если уж ты философ, то никогда не на троне.

Ну, разве что шутки ради. Гегель, философ из философов, в 1822-м, путешествуя, забрёл от безделья в Аахенский собор и присел на трон Карла Великого. Потом в письме жене описывал картинку: «Две мраморные плиты по бокам, такая же спинка, они гладкие, толщиной в 1 ½ дюйма; с выгравированными на нем письменами, кусочки его кое-где сохранились». Теперь внимание: «Спустя 300 лет после смерти Карла и нашёл его, кажется, император Фридрих <Барбаросса> *сидящим* на этом троне, в царском облачении, с короной на голове, со скипетром в одной руки, с державою в другой; всё это он приобщи

к имперской сокровищнице, а останки Карла предал земле. На этот трон, на котором, по уверению причетника, короновались 32 императора, и я уселся, как и каждый, сюда входящий, а удовольствия от этого только и всего, что посидел на троне» [1, с. 433]. Между нами говоря, удовольствие ниже среднего. На троне вообще неинтересно. Последний российский самодержец Николай II как-то спросил Шаляпина, почему басов любят меньше, чем теноров. «Поём либо монахов, либо дьяволов, либо царей — разве сравнишь?» Государь подёргал бородку: «Да, какие-то роли неинтересные» [2, с. 300].

Хотя Марк Аврелий, оставивший нравоучительный трактат, и называл себя «философом на троне», но большим его следует признать другого римского кесаря, Диоклециана: он хорошо знал про интересное. Историк Лактанций так поведал об отречении от престола кровожадного, но умного диктатора: старик (в 59 лет, но тогда старились рано) ныл, что, мол, немощен, хочет после трудов покоя и в более сильные руки передаёт власть (*Лактанций. О смерти гонителей*, 19). Девять лет из 68 лет прожил Диоклециан на положении частного лица в роскошном дворце в Сплите (Спалато). Там он растил настурцию и поливал овощи. Когда Максимиан и Галерий звали его вернуться, он, отшатнувшись, ответил: «Если бы вы увидели, какая у меня растёт морковка (или капуста), никогда не предлагали бы этикие глупости». Этот эпизод воспроизведён как допустимый элемент советской сатиры, по меньшей мере, в четырёх фильмах (например, «Москва слезам не верит» — Алексеем Баталовым, «Полковник в отставке» — Николаем Гринько).

По сравнению с хитрым простецом Диоклецианом умник Аврелий как философ скорей представляется лицемером и циником. Всё его «нерасположение к пустякам», «благочестие, щедрость, воздержанность не только от дурных дел, но и от дурных помыслов», «скромность и мужественность», поверяемые бумаге, которая стерпит не только царственные враки, — проявление гордыни во времена, когда не привыкли знать, что такое грех и как за него люстрируют. А ведь Марк Аврелий это вторая половина II века по Р. Х. Что-то есть лукавое в его высказывании о христианах: готовность к мучениче-

ству «должна корениться в собственном суждении, проявляя себя не со слепым упорством, как у христиан, а рассудительностью, серьёзностью и отсутствием рисовки: только тогда она убедительна для других (Марк Аврелий. Наедине с собой, XI 3), а не только для философов на троне.

Хорошо идеалисту Платону было утверждать, что государство будет процветающим, когда в нём разохотятся править философы, а готовые правители начнут заниматься философией. Между нами говоря, был бы полный хаос: не философией должны они заниматься, а державным управлением, оттого что «государство есть великая машина, коея цель есть блаженство граждан» [3, с. 613]. И хотя «как бы не так», философией удобнее всего заниматься философам, от которых мало что зависит. Единственное, на что способно государство в отношении философа — это обратить внимание и принять меры.

Многомудрого первореволюционера Радищева вместо того, чтобы задушить в зародыше, за предерзостную книгу всего-то выслали в Сибирь, в Илимск — убирать снег (весь). Помогло: в 1773-м, до «Путешествия из Петербурга в Москву», он полагал, что «самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние» [3, с. 3]; в 1790-м, в Илимске, сочиняя сыновьям завещание, полагал иначе: «Будьте почтительны и послушны непрекословно к вашим начальникам, исполняйте всегда ревностно законы её императорского величества. Любите, почитайте паче всего священную её особу и даже мысленно должны вы ей предстоять с благоговением» [3, с. 695]. Тёплое сибирское вразумление пошло смутьяну на пользу: в Илимске Радищев предался мирным литературным занятиям, и переустроечные наваждения из головы улетучились. По разящему слову Пушкина император Павел I (prince adorable, despote implacable), взошед на престол, «вызвал Радищева из ссылки, возвратил ему чины и дворянство, обошёлся с ним милостиво и взял с него обещание не писать ничего противного духу правительства. Радищев сдержал своё слово. Он всё время царствования императора Павла I <6.11.1796–11.03.1801> не написал ни одной строчки. Он жил в Петербурге, удалённый от дел и занимаясь воспитанием детей. Смиранный опытностью и годами, он да-

же переменял образ мыслей, ознаменовавший его бурную кичливую молодость. Он не питал в сердце своём никакой злобы к прошедшему и помирился искренно со славной памятью великой царицы» [4, с. 355–356]. Чуть выше Пушкин заметил: «У него нет ни товарищей, ни соумышленников. В случае неуспеха — а какого успеха может он ожидать? — он один отвечает за всё, он один представляется жертвой закону. Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а “Путешествие в Москву” весьма посредственной книгой; но со всем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестливостью» [4, с. 354]. Не на троне можно позволить себе быть фанатиком или романтиком. На троне нужно если не быть, то — если уж очутился — оставаться философом.

Пожалуй, Радищев всё-таки сильно мучился и (как позднее литературный ухарь Солженицын), сочиняя в тиши кабинета новые законы на манер «как нам обустроить Россию», а в годовщину ликвидации Павла I («от апоплексического удара» табакеркой в висок) принимает яд. Детей «моих несчастных повергаю пред престол милосердия её императорского величества», — это десятилетием раньше. А ныне и матушка-императрица Катерина Алексеевна, возмущённая излишним свободословием Радищева, уже почил в Бозе, и несчастные дети подросли, даже надели эполеты.

«Не знаю, какова негя власти в других владетели, во мне не велика» [3, с. 666], — начертала немка-государыня на полях крамольной радищевской книжки. «Убийство войною называемое, чеве же оне желают, чтоб без обороны попастя в плен туркам, татарам, либо пакарится шведам. Попрекая в неисполнении велении, самы себя обвиняют», — продолжала кипятиться государыня, плохо знавшая на письме по-русски («ещё» писала «исчо» итд). «На 137 [стр.] изливается яд французской и продолжается на 138 и 139. Но все сие рассуждение лехко опровергнуть можно единым простым вопросом: ежели кто учинит зло, даёт ли право другому творить наивящее зло? Ответ:

конечно, нет. Закон позволяет в оборону от смертного удара ударить, но доказание при этом требует, что иначе не можно было избегнуть смерть. И стало вся толкование сочинителя не дельное, не законное, но суетное умствование» [3, с. 666]. Шестидесятилетняя царица долго читала книгу Радищева, опечалилась и в заключение смущенно написала: «Скажите сочинителю, что я читала ево книгу от доски до доски, и прочтя усумнилась, не зделанно ли ему мною какая обида? ибо судить ево не хочу, дондеже не выслушан, хотя он судит царей, не выслушивая их оправдание» [3, с. 671]. Радищев потом на допросе оправдывался совсем не по-дворянски и не сообразно своим писаниям: «А писал так дерзко, могу истинную сказать, по сумасшествию на то время и сумасбродству своему» [3, с. 674]. И вроде на дыбе его не вздёргивали? Не нам в трусости винить сорокалетнего писателя, но что-то скользкое в его ответе нащупывается: Екатерина привлекательней Радищева, честнее его. Ну, какой же он «бунтовщик, хуже Пугачёва»?

На примере трудного и долгого царствования (28.06.1762–6.11.1796) Екатерины Великой, казалось бы, должно быть видно, что едва философ и кесарь начинают совмещаться в одной персоне, появляется перекосяк: то ли государственное управление страдает, то ли сам управляющий. С Марком Аврелием это получилось сознательно, с Диоклетианом бессознательно. Ведь держава берёт на попечение только больных и увечных: философ избыточен, и если уж появился или выкормился на державный счет, должен быть либо покладист, либо в каторге. Радищев, сознавшись, что увечный, избежал казни, отделался десятилетней высылкой, хотя и «бунтовщик, хуже Пугачёва». Смех и грех.

Всё же есть что-то неуловимо привлекательное в метафоре «философ на троне». Если трон стоит крепко, его попирают седалищем регулярно, а дела державные, несмотря на вечные политические нестроения, происходят вовремя, — неясно, как разъяснить такое коварное противоречие.

Например, по наблюдению Карена Араевича Свасьяна, если Петру Великому можно было начать с побоев за неправильное упо-

требление немецких модальных глаголов и через краткий срок ошеломить европейских наставников парадоксами культурно обогнавшей Европы, то это свидетельствовало о неограниченных возможностях разумного правления. Сделать можно было решительно всё, но при условии, что протагонистом действия выступило бы неограниченное насилие. «Если в случае с Петром история оказывалась грубо сколоченным потёмкинским камуфляжем, накинутым на чистой воды биологизм, то политический ангажемент Сталина маскировал куда более привычные реалии — скажем, садовника или агрария-экспериментатора, имеющего дело не с людьми, а с растениями и оценивающего историю с точки зрения её пригодности для превратностей гибридизации» [5, с. 121].

Скажем, касательно государыни Катерины Алексевны умственную работу по развеществлению историко-культурных смыслов с успехом выполнила, прибегая к матрицам общеевропейской культурной традиции, доктор философских наук, профессор Марина Юрьевна Савельева [7].

Автор глядит сквозь зрительную трубу в небо над тогдашней Россией, а я хотел бы сквозь ту же трубу поглядеть, что делалось на улицах, в нетопленных комнатах и остывших дворцовых коридорах, чтобы историко-культурное пространство было ощутительней и рукodelней.

Оснадцатый век в Российской империи: власть грешила любоначалием, интеллигенция — празднословием, как писал Фёдор Августович Степун. Любоначалие вместе с табаком, париками и картошкой ввёз Пётр I, интеллигенция только проклёвывалась: ещё не сошло двух столетий непоротых бояр после Петра. Эпоха российского XVIII века, можно сказать, немногим известна немногим лучше, нежели античность: так, лишь черты — анекдоты, пара постельных сцен, записки императрицы. Орлов, Потёмкин, Зубов, Суворов. Вот с недавних пор гардемарини, которые «вперёд!». Елизавета Петровна, Бестужев-Рюмин, Иоганн Лесток. И этот бунташный век, и античность становятся понятными, лишь когда в руках тексты, а над ними внимательный, медленно читающий читательский глаз.

Пропорция сохранённого и сохранившегося в истории культуры во все времена должна быть принята приблизительно одинаковой, что бы там ни писал на этот счёт Игорь Аркадьевич Ильин (1904–1961) [7, с. 67–98]. Сохранённое можно прочесть, несохранившееся приходится домысливать. В этом прорастает искусство реконструкции ушедших эпох. И если история — это школа поведения, то история российского XVIII века — это школа куртуазного поведения: императриц (было «бабье царство»), вельмож и начинающих революционеров. Куртуазное поведение, как сакральная форма существования стратифицированных индивидов, предполагает некую унцию просвещённости: в XVIII веке такая унция была редкостью, завозилась из Европы, добавлялась — будто соль по вкусу — в посконные размышления простеньких, но хитрых соотечественников.

На долю совсем не глупой и оттого терпеливой императрицы Екатерины II пришлось много испытаний. Взошед узурпаторшей на российский трон при помощи мускулистых гвардейцев в 1762-м, уже в 1764-м она ликвидирует институт гетманства в Украине, терпит Колиивщину и учиняет Коднянскую расправу; в 1768-м давит бунт серомы (бедняков) в Запорожской Сечи, выигрывает русско-турецкую войну 1768–1774 гг. (закончившуюся, правда, странным Кючук-Кайнарджийским миром), душит восстание олонецких крестьян (1769–1771 гг.), московский чумной бунт 1771-го, едва не снёсший Кремль, и могшую стать роковой жуткую Пугачёвщину 1773–1775 гг.; в том же 1775-м разгоняет Запорожскую Сечь. Вторая при государыне русско-турецкая война 1787–1791 гг. кончилась Яским миром, Турбаёвское восстание полтавской черни 1789–1793 гг. подавлено с входящей в моду аккуратностью и давно привычной жестокостью. Екатерина царствовала тридцать лет и четыре года, почти как в сказке, и реже пяти из них — спокойно, лёжа на боку. Зато державный порядок в дикой стране был образцовым. С немецкой категоричностью она боролась с системоразрушительными силами, создавая стабильные политические институты, которые, тем не менее, привели в декабре 1825-го к офицерскому бунту на Сенатской площади, оказавшемуся на руку самым консервативным кругам тогдашнего общества.

Поначалу царица пыталась было проводить какие-то цивилизованные реформы вроде того, чтобы созвать депутатов всех сословий в Комиссию для составления нового Уложения (на манер Соборного уложения Алексея Михайловича 1649 г.) и издать для них Наказ, как это было в 1767-м. Но после, видя, что умников в России немного, а всё больше «драгоценный класс черни» (которого — курам на смех — пытались просвещать Новиков с Каржавиным), царица решила, нагнав метафизического туману на Невские берега, заняться обычным царёвым делом: упрочить абсолютную власть, смазывая шестерни державной машины чинами, орденами, душами, землями и кровью тех, кто эти земли обрабатывал. Она, конечно, ликвидировала слово «раб», «рабство», но когда Василий Васильевич Капнист в полуживительной «Оде на истребление звания раба Екатериною» пытался куснуть государыню, она отмахнулась от него, как тёлка от мухи.

Ультралиберальный по тем временам Наказ развязывал языки и прищипывал вольность разума. Правда, языков было немного, разума ещё меньше, так что государыня не слишком рисковала внутри страны, зато перед элегантною Европе выглядела нежной ангальт-цербстской европейкой. Ну, кто нынче не восхитится демократичнейшим из демократичнейшего: «Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены одним и тем же законам. Сделайте, чтоб люди боялись законов, и никого бы, кроме них, не боялись. Все наказания, которыми человеческое изуродовать можно, должно отменить» итд? Всякий восхитится. Дидро писал об этом забавном в дикой стране Уложении, что в нём дан проект превосходного кодекса, но нет ни единого слова, чтоб этот кодекс обеспечить. А зачем? «Я вижу там деспота, отрёкшегося на словах, но деспотизм, по существу, остался, хотя он и именуется монархией. Я не вижу здесь ни одного постановления, которое было бы направлено на освобождение массы народа» [8, с. 510–511]. Царица наверняка улыбнулась: для чего ей освобождать народ? Едва ли он в том нуждается, свободомысле ему не свойственно. Для свободы мысли нужна мысль, а её позволяют себе немногие. Ещё недоставало: пусти просвещённого Дидро в непросвещённую Россию — хлопот не оберёшься. Народу и доброго

слова довольно. Пугачёвский бунт, ошеломив государыню, уничтожил модное европейское вольтерьянство; Денис фон-Визин, трубадур екатерининских мнений, умерший в параличе за четыре года до хозяйки, едва не разделил общую участь: напомню, царица была терпелива и милостива.

Конечно, по духу она была византийкой, как всякий разумный у власти. Державное лицемерие и показные игры в либерализм, подкреплённые для важности авторитетом французских остроумцев третьего сословия с Дидро и Вольтером, оказались её политической философией *par excellence*, правда, сдобренной посконным, лапотным остроумием «на сталинский манер». Например, однажды в Царском Селе, проснувшись раньше обычного, государыня вышла на дворцовую галерею подышать воздухом Авроры, увидела у подъезда нескольких придворных служек, нагружавших телегу съестным казённым припасом. Долго Екатерина глядела на их занятия незамеченной, наконец, крикнула, чтобы кто-нибудь подошёл. Воришки оторопели.

– Вы, кажется, нагружаете телегу казённым провиантом?  
– Виноваты, ваше величество, — падая ниц, ответил человек.  
– Чтоб это в последний раз. Теперь убирайтесь скорее, иначе увидит вас обер-гофмаршал, и тогда несдобровать [9, с. 14].

Благодушествовавшая государыня часто попугивала таких предпринимателей (один набьёт чемодан дворцовым серебром, другой фарфоровое блюдо под косовороткой вон тащит) гр. Гр. Гр. Орловым: может, как раз, чтобы попасть в анекдот и прослыть немелочной. Скоморошество, перенятое у традиционного русского двора, приобрело причудливые формы светскости.

Раз престарелый генералиссимус князь Суворов-Рымникский был приглашён во дворец к рождественскому обеду. Занятый каким-то разговором, он не касался еды. Заметив это, Екатерина справляется о причине.

– Он у нас, матушка, великий постник, — объясняет другой князь, Потёмкин-Гаврический, — ведь сочельник, он до звезды есть не будет.

Императрица, подозревая пажу, прошептала ему что-то на ухо; паж

уходит и через минуту возвращается с футляром, в котором бриллиантовая орденская звезда. Вручив её Александру Васильевичу, царица прибавила, что теперь он может разделить с ней трапезу [10, с. 41]. Разве не назидательный сюжет для главки «Смех в XVIII веке»?

С кем же ей было в России общаться? Орловы, Безбородко, Несельроде, Строганов, Нарышкин, Голицын, Кречетников, Львов, Потёмкин, А. Вяземский, Харповицкий, Остерман, генералы (даже такие, как Суворов), адмиралы (как Ушаков) и обер-полицмейстеры (как Рылеев)? Чаще льстивые чиновники, боявшиеся друг другу честное слово молвить, ещё чаще малограмотные, зато — очень храбрые. Императрица была женщиной образованной, и эти люди были ей нужны как служаки (во всех смыслах), а не собеседники. Служака молчалив, исполнительен, собеседник разговорчив и несговорчив. Как Гаврила Романович, бывший при её персоне статс-секретарем, или фон Визин, читавший вслух «Бригадира». Остальных приходилось эпистолярным якорьком выдалживать из-за границы, из той самой Франции, которую Екатерина за метафизическое вольнодумство уважала и которую за прикладное вольнодумство в 1789-м возненавидела.

Так, однажды польщённая державинской одой «Фелица» (1782), ей посвящённой, Екатерина несколько раз принималась рыдать над текстом. «Плачу, как дура», — призналась она Дашковой. Владислав Ходасевич считал, что «Фелица» должна была прийтись государыне по вкусу и пониманию именно теми особыми свойствами, которые снижали это произведение как собственно оду: сатирической стороной, лёгким шутивым тоном, бытовым, приближённым к обыденности материалом, наконец — слогом, который Державин назвал забавным, с его «низким» тезаурусом и обильными заимствованиями из повседневной речи. Через двести лет за одический текст противоположного толка другой диктатор оставил в живых величайшего из русских поэтов, но ненадолго: ждал настоящей оды, дождался подъячески хвалебного слова, разочаровался, и — Осип Эмильевич в бреду давил вшей в «хлипкой грязце» владивостокского барака.

Державин (жизненно — чиновник, исторически — поэт: неудачный губернатор Олонца и Твери, выбившийся из солдат секретарь

императрицы) недолго оставался при «философе на троне»: дерзил, перечил, всячески стремясь быть честным. До поры до времени среди всеобщего лукавства царице это нравилось, но затем, когда Державин, играя, побежал за цесаревичем Александром Павловичем, споткнулся, упал, вывихнул руку и несколько недель пролежал в постели, в его ёршистых услугах царица постепенно нуждаться перестала. Ну, какой она после этого философ? А вот какой: на троне. Поскольку очень долго — не может не быть философом.

Справедливости ради стоит сказать: царица пописывала, был у нее такой тайный грешок. Это были сказки и пьесы на французском языке. «На мои сочинения, — писала она в одном письме, — смотрю как на безделки. Я люблю делать опыты во всех родах, но мне кажется, что всё написанное мной довольно посредственно, почему, кроме развлечения, я не придавала этому никакой важности». И правильно делала [11].

Вероятно, наиболее точно характер деятельности Екатерины очертил двадцатитрёхлетний Пушкин, поскольку тогда больше было некому. «Царствование Екатерины II имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России. Возведённая на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их на счёт народа и унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивления потомства. Её великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало её владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве. <...> Униженная Швеция и уничтоженная Польша, — вот великие права Екатерины на благодарность русского народа. Но со временем история оценит влияние её царствования на нравы, откроет жестокую деятельность её деспотизма под личиной кротости и терпимости» [12, с. 127–128]. Не слишком ли суров первый российский поэт и первый мыслитель? Нет. Он знал, чем восхищаться, зная, что порицать.

Вопрос в другом: нашла ли место требуемая Пушкиным оценка? Конечно.

Например, Марина Савельева пишет, что чем больше Екатерина мыслила и действовала, тем меньше её понимали. «Ведь и сама она тем меньше понимала свой народ, чем больше старалась для него сделать. Воспринимая своих подданных иначе, чем её предшественники, — как объектов собственных формальных экспериментов, — Екатерина бессознательно (и необходимо) делала всё, чтобы подданные сами постоянно осознавали свою нужду в ней, были привязаны к ней. Удивительным образом ей хотелось, чтобы, получая из её рук плоды и просвещения, они добровольно отказывались от главного, что просвещение должно было им дать, — от самостоятельности действий, и возвращались бы под её эгиду, как к изначальному и всеобщему основанию» [6, с. 209]. Это ли объяснение, которого требовал Пушкин?

Может, главным свидетельством философских достижений Екатерины, подтверждающих правоту интерпретаторов её деятельности, являются её ответы на анкету Дениса фон Визина в дашковском «Собеседнике любителей русского слова» за 1783 год — «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особое внимание». Императрица по предрозостной наивности, безусловно, причисляла себя к таковым. Прочтём некоторые.

«3. Отчего все в долгах?

На 3. Оттого в долгах, что проживают более, нежели дохода имеют. <...>

7. Отчего главное старание большей части дворян состоит не в том, чтоб поскорей сделать детей своих людьми, а в том, чтоб поскорее сделать их, не служа, гвардии унтер-офицерами?

На 7. Одно легче другого. <...>

10. Отчего в век законодательный никто в сей части не помышляет отличиться?

На 10. Оттого, что сие не есть дело всякого. <...>

12. Отчего у нас не стыдно не делать ничего?

На 12. Сие не ясно: стыдно делать дурно, а в обществе жить не есть не делать ничего. <...>

18. Отчего у нас начинаются дела с великим жаром и пылкостью, потом же оставляются, а нередко и совсем забываются?

На 18. По той же причине, по которой человек стареется <...> [13, с. 132–135].

Конечно, в такой стране среди снега, ветра и ёлок не могла появиться самостоятельно утончённая философская мысль. Парадокс же в том, что она появилась, оправдав и опровергнув своим возникновением крепостничество, Сибирь и медвежьи берлоги. Появилась издалека: из-за российской границы.

Русская проза и русская поэзия, по язвительному замечанию чухоточного, но «неистового Виссариона» (Белинского), тоже были выписаны в Россию «по почте из Европы»: это не туземные, но пересаженные растения. Уже Пётр, в апреле 1702-го издав Манифест о вызове иностранцев в Россию, составленный по-немецки, адресовался Европе. Таким же было и европейское барокко, завезённое в архитектуру России Петром вместе с бритвенными принадлежностями, кофе и неудобными париками, — получилась прививка культуры как цыганский борщ: каждый валит, что украл, но борщ получается хороший, поскольку плохого не крадут [14]. Появилось собственное, почвенное «нарышкинское барокко» и итальянские статуи в Летнем саду; столица обрела форму пространства, невольно соотносимого жителем с размером и формой собственного неискалеченного пыткой тела [15]. «Воздушные замки» на бумаге и потёмкинские деревни из фанеры на землях замиренного Крыма получили свою «архитектуру», почерпавшую из чистеньких руин Паннины, древностей Пуссена, Роббера и «достопамятных древних развалин в Шотландии» Дж. Виллиамса, вписывались в декорационно-гротескную традицию Шатобриана и деланную «поэтику мировой скорби», тщательно расслышанную Нестором Александровичем Котляревским. Показная дешёвка ценилась дорого: чтобы показать, её надо было сделать, а чтобы сделать, — помыслить. Недаром потому же российская поэзия XVIII века сразу вступает в круг европейских литератур эпохи классицизма. В высокой лирике, ещё невиданной, Тредиаковского, Державина, Княгинина, Дмитриева вольный ямб прививался менее уверенно, нежели рус-

ский шестистопный ямб: строгому классицизму он казался опасной уступкой вкусам барокко. Но к концу века, с начинающимся кризисом европейского классицизма и становлением российского (1770–1780-е), вольный ямб всё более привлекает внимание поэтов [16]. Первым поборником этой формы был «карманный её величества стихотворец» Василий Петров.

Стоя у распахнутого Петром «окна», Екатерина не только вдыхала просвещённый воздух Европы, к концу её царствования пахнувший свежей кровью французского короля, пылью площадей и гарью Бастилии, но и сама в себе пыталась преодолеть навозный воздух наивной, докритической умственной стихии, постоянно обдаваемой тяжёлым духом народного примитивизма. Кант, формулировавший вечную правду просвещения и связывавший с ней учение об автономии, появился в спёртом воздухе Европы, когда эпоха Екатерины была в зените.

Вообще, философы почему-то любят работать с Кантом — наверно, потому, что «это красиво». Яков Эммануилович Голосовкер в 1956-м написал трактат «Достоевский и Кант» (соотносительные размышления о «Братьях Карамазовых» и «Критике чистого разума»), в 1991-м Владимир Соломонович Библер издал «Кант — Галилей — Кант» (о разуме Нового времени в парадоксах самообоснования), в 2006-м Марина Савельева выпустила, по существу, труд «Екатерина II и Кант», доказательно изобразив, что власть над свободой не сильнее самой свободы. Кантовские антиномии суть «божественные иллюзии», дар природы (порой «дар случайный, дар напрасный»), и в этом их отличие от софизмов, где иллюзия искусственна и есть скорее перекормленность, перевоспитанность ума.

Екатерина и Кант, мало того что современники, трудились в век расцвета европейской риторики. В этом смысле Россия XVIII века была сестрой античности: «та ещё-не-риторика, из которой родилась риторика [по-античному: художественная проза], более или менее тождественная той ещё-не-философии, из которой родилась философия. Зоны предриторики и предфилософии в большей своей части покрывают друг друга» [17, с. 128]. Куртуазная игра слов: дворцовый камзол и придворная пудра мысли, приготовленные к европейскому показу.

Екатерина состояла в переписке с французскими мыслителями, выписывала модный журналчик «Correspondance, littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, etc», в котором Дидро печатал «Салоны». Но каждый раз знала про сверчка и шесток каждого. Царица признавалась: «Я часто и долго беседовала с Дидро; он меня занимал, но пользы я выносила мало. Если бы я руководствовалась его соображениями, то мне пришлось бы поставить всё вверх дном в моей стране: законы, администрацию, политику, финансы, — и заменить всё неосуществимыми теориями. Я больше слушала, чем говорила, и поэтому свидетель наших бесед мог бы принять его за сурового педагога, меня — за послушную ученицу. Может быть, и он сам был такого мнения, потому что по прошествии некоторого времени, видя, что ни один из его обширных планов не исполняется, он с некоторым разочарованием указал мне на это. Тогда я объяснилась с ним откровенно: “Господин Дидро, я с большим удовольствием выслушала всё, что подсказывал вам ваш блестящий ум. Но с вашими великими принципами, которые я очень хорошо себе уясняю, можно составить прекрасные книги, однако не управлять страной. Вы забываете в ваших планах различие нашего положения: вы ведь работаете на бумаге, которая всё терпит, которая гибка, гладка и не ставит никаких препятствий ни вашему воображению, ни вашему перу. Между тем я, бедная императрица, работаю на человеческой коже, а она очень щекотлива и раздражительна”» [18, с. 58]. По-моему, это блестящее признание в устах царственной особы, которой за него можно простить многое, даже сквозящие здесь лукавство и насмешку.

Демократический миф обставлялся монархиней по всем правилам риторики. Максим Горький, «временно исполнявший роль русской интеллигенции», вслед за историком XIX века Василием Алексеевичем Бильбасовым комментировал библиотечно-революционные события, связанные со стараниями Екатерины приноровить черенки Дидро с Вольтером к российским кочкам, таким образом: вы видите здесь здоровый реалистический ум немецкой мещанки, той, которая, стоя во главе полуазиатского общества, пишет ему законы, создаёт промыслы, развивает торговлю, организует войско, пытается

(безуспешно) просветить народ. Она учится у французских буржуа, «обкрадывает Монтескьё» в своем Наказе, сама переводит Жана Франсуа Мармонтеля. Она смотрит на Россию как на своё домашнее хозяйство и упорно ищет среди её ленивого, распущенного дворянства помощников.

Екатерина почти не имела опоры в крепостническом обществе, враждебном европейской культуре и вообще всякой культуре, и оттого строения её были возводимы на песке: четыре года царствования Павла I едва не разрушили её начинания [19, с. 18]. Как бы ни было, режим Екатерины был образцовой моделью государства, построенного на политическом лицемерии, и эта модель пронесена по славянским странам в самой идее государственности до сегодняшнего дня нерасплёсканной, целостной, изящно организованной.

Мне всегда казалось, что мыслители времени Екатерины — Яков Козельский, Дмитрий Аничков, Семён Десницкий, Николай Новиков и др. — лишь переводчики чужих идей на русский язык: благодаря им Россия узнала о Вольфе, Дидро, Руссо, Монтескьё, Гельвеции, Гольбахе, Боудене и проч., а Витрувий заговорил русским говором Петра Великого. Однако Марина Савельева показывает, что это не так. Просветитель — это фонарщик, освещающий направление: мол, туда, в Европу, или «берите оттуда, из Франции и Германии» и на российской почве проращивайте. Что вырастет, уестествим. Екатерине такой ламарковский подход был одновременно по нраву и не по нраву. «Не по нраву»: например, фраза, сказанная в 1785-м при случайном посещении Царицына, над постройкой которого трудился архитектор Василий Иванович Баженов: «срыть сии казематы: это не дворец — острог». Ещё бы: готики в России отродясь не было, и вдруг нате — псевдоготика. Что за чепуха? Можно понять гнев августейшей: если уж что и черпать оттуда, то — лучшее. В том, что псевдоготика была формой творческого протеста Баженова против классицизма, такая себе «смена вех» и потому его личная беда, никто не сомневался. А вот что псевдоготика была чуждой российской строительной действительности и вкусу аристократии с Екатериной во главе, — нужно доказывать. И никаким иным способом, кроме мифологии, это, пожа-

луй, не сделаешь. Как заметил Анатолий Исаакович Каплун, французское рококо, этот интимный, чувственный интерьер аристократов, означал не победу над рационализмом, а бегство от него. От рационализма, правда, далеко не убежишь: европейская сноровка не та. А вычурность была слишком старой для тяжёлых платьев. Стилль «Zopf» (1760–1780-е) в версальском Малом Трианоне Жак-Анж Габриэля цыкнул на рококо, и интерьер стал затихать в истерике, больному понадобились успокоительные капли болотных тонов. Припадки не знавшие удержу декоративного роскошества ещё изредка навещали архитектуру, но плащ рационализма уже надолго повис в уютной дворцовой прихожей. Баженов хотел выпрыгнуть из кожи зарождавшегося европейского классицизма, и государыня на него за это тоже цыкнула.

Если приучиться читать мир как текст и читать его как текст, некоторые моменты могут оказаться пригодными для того, чтобы заставить читальщика книжку Марины Савельевой закрыть. Может, не следует всё-таки напрямую переносить метод постижения инобытия посредством чтения культурного текста на моменты личного обстояния миром самого себя? Античник Александр Иосифович Зайцев писал, что результативными при изучении индивидуального в истории культуры являются все подходы, не отступающие от универсальных принципов научного метода, а из нерезультативных ему лучше были знакомы герменевтика школы Дильтея и структурализм [20, с. 16.]. И вправду: такие тексты и место имеют — в читательской корзине.

Чтение картины мира как текста имеет ещё одно достопамятное достоинство: невозможность переписать прочитанное иными словами. Хотя всякое чтение есть интерпретация настоящего. Возможно ли настоящее в сознании помимо интерпретации? Вероятно, нет, поскольку всяко-разное входит в сознание только при помощи превращения формы. В книге Марины Савельевой есть хорошая модель [6, с. 370], хотя нынешние любомудры, познавшие вкус деконструкции, отвыкли от конструирования моделей. Если всмотреться в неё, станет очевидным, что соотношение «содержания превращённого» и «формы превращённой» через текстуально означенное событие (факт чтения чужих текстов) возможно посредством задействия истории в двух

её предметных качествах: действительности и возможности. В этом случае сознательный опыт исследователя будет основанием истории, сиречь посылкой к созданию собственного текста.

Вообще, хочу сказать, что в книге Марины Савельевой (спровоцировавшей эту статью) материал сбит, смонтирован, как в фильмах Эйзенштейна: незаметно, что льдины Ледового побоища из пенопласта. Просвещение проходит красной нитью (как в снастях британских фрегатов) через книгу «Философ на троне»: автор изучает российское просвещение, вертит его на языке, восхищается им, и просвещает современного читателя самыми просвещёнными словами. Её Екатерина — не живой человек (это было бы странно), не восковая персона с «малолетним Витушишниковым» Юрия Николаевича Тынянова, но исторический и историко-философский субъект, то есть чистое основание и потому даже обоснование мышления о веке Просвещения. Россия в книге — априори полупросвещённая Просвещением — распята между мифом и историей: автор несёт этот умственный крест через текст, не кадая кровью, чтобы установить его в нужном месте без посторонней помощи. Дворянин-философ, утопия, воплощение которой в реальном мире не принесёт ничего, «кроме рабства, стеснений и лицемерного повиновения» (*Марк Аврелий*. Наедине с собой, IX 29), театралогия (дело не шуточное), историческое априори, наконец, трихотомия «Кант — Карамзин — Кант» (отличная по методу проникновения в предмет от библиеровской трихотомии «Кант — Галилей — Кант») — это своего рода логическое возмездие за ненаписанное другими, брожение по барочным садам, воспетым в стихах Делиля и монографиях академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Это весёлая книга в том смысле, что на страницу прочитанного текста хочется написать две своих, и потому ещё, что «на печального и вошь лезет». Хотя и без смеха очевидно, что Екатерина была философом: ведь должен же кто-нибудь быть философом в России в XVIII веке. Богу угодно, чтоб — на троне.

#### Литература и примечания

1. Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет : В 2 т. [Текст] / Гегель. — М. : Мысль, 1973. — Т. 2. — 632 с.

2. *Гаспаров М. Л.* Записи и выписки [Текст] / М. Л. Гаспаров. — М. : НЛО, 2000. — 416 с.

3. *Радищев А. Н.* Избранные сочинения [Текст] / А. Н. Радищев. — М. ; Л. : ГИХЛ, 1949. — 856 с.

4. *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. : В 10 т. [Текст] / А. С. Пушкин. — Изд. 2-е. — М. : Изд-во АН СССР, 1958. — Т. 7 : Критика и публицистика. — 766 с.

5. *Свасьян К. А.* Мемориал... памяти или беспамятства? [Текст] / К. А. Свасьян // Освобождение духа / Под ред. А. А. Гусейнова и В. И. Толстых. — М. : Политиздат, 1991. — С. 118–137.

6. *Савельева М. Ю.* Философ на троне : Штрихи к портрету Екатерины Великой [Текст] / Марина Савельева. — К. : ПАРАПАН, 2006. — 424 с.

7. *Ильин И. А.* История искусства и эстетика : Избр. статьи [Текст] / И. А. Ильин ; Предисл., сост. и общ. ред. Мих. Лифшица. — М. : Искусство, 1983. — 288 с.

8. *Дидро Д.* Собрание сочинений: В 10 т. [Текст] / Дени Дидро. — М. ; Л. : ГИХЛ, 1947. — Т. 10 : Rossica: произведения, относящиеся к России. — 642 с.

9. Подлинные анекдоты императрицы Екатерины Великой, премудрой матери отечества [Текст] / Екатерина. — М. : Изд. К. Д. и А. К., 1806. — 198 с.

10. Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX века [Текст] / Сост. и прим. Е. Курганова и Н. Охотина. — М. : Худож. л-ра, 1990. — 272 с.

11. Литературное хозяйство императрицы издано Императорской академией наук в 1901–1908 гг. под редакцией сначала А. Н. Пыпина, затем Я. Барскова, в 12 томах. Сравним: сочинений Державина достало на девять томов (СПб., 1870-е), Жуковского на восемь (СПб., 1902).

12. *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. : В 10 т. [Текст] / А. С. Пушкин. — Изд. 2-е. — М. : Изд-во АН СССР, 1958. — Т. 8 : Автобиографическая проза. Историческая проза. История Пугачёва. Записки Моро-де-Бразе. — 596 с.

13. Вопросы Фонвизина и ответы сочинителя «Былей и небылиц» (императрицы Екатерины II) [Текст] / Д. И. Фонвизин // *Фонвизин Д. И.* Избр. соч. и письма / Общ. ред. Н. Л. Бродского. — [М. ; Л.] : ОГИЗ ; ГИХЛ, 1947. — 300 с.

14. Парафраз на мысль Л. М. Баткина о коллективных монографиях, изданных Институтом мировой литературы им. А. М. Горького, где-то пересказанную М. Л. Гаспаровым.

15. *Каганов Г. З.* Санкт-Петербург : Образы пространства [Текст] / Г. З. Каганов. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2004. — 232 с.

16. *Гаспаров М. Л.* Очерк истории русского стиха : Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика [Текст] / М. Л. Гаспаров. — Изд. 2-е, доп. — М. : Фортуна Лимитед, 2000. — 272 с.

17. *Аверинцев С. С.* Образ античности [Текст] / Сергей Аверинцев. — СПб. : Азбука-классика, 2004. — 480 с.

18. Цит. по: *Сементковский Р. И.* Денни Дидро. 1717–1784 : Его жизнь и литературная деятельность [Текст] / Р. И. Сементковский. — СПб. : Тип. Высочайше утвержд. т-ва «Обществ. польза», 1896. — 88 с.

19. *Максим Горький.* История русской литературы [Текст] / М. Горький. — М. : ГИХЛ, 1939. — 340 с.

20. *Зайцев А. И.* О применении методов современной психологии к историко-культурному материалу [Текст] / А. И. Зайцев // *Одиссей : Человек в истории (Личность и общество)* / Отв. ред. А. Я. Гуревич. — М. : Наука, 1990. — С. 15–16.

**Андрій Олександрович Пучков**, доктор мистецтвознавства, професор, заступник директора ІПСМ НАМ України з наукових питань

**Про культуру і долі царственої цікавості: Розмисли над метафорою «філософ на троні», про освіту і творчу непостійність**

**Анотація.** Стаття, що набрала форми рецензії, присвячена роздумам над текстом монографії доктора філософських наук Марини Савельєвої «Філософ на троні: Штрихи до портрета Катерини Великої» (К., 2006). Зокрема, показано, що, стоячи біля відчиненого Петром «вікна», Катерина не лише вдихала освічене повітря Європи, що до кінця її царювання відгонило свіжою кров'ю французького короля, пилом площі гаром Бастилії, а й сама в собі намагалася подолати гнойове повітря наївної, докритичної розумової стихії, яка постійно овійовалася важким духом народного примітивізму. Кант, який формулював вічну правду просвіти і пов'язував із нею вчення про автономію, з'явився в спертому повітрі Європи, коли доба Катерини була в зеніті. Росія в книжці М. Савельєвої — апіорі напівосвічена Просвітництвом — розіп'ята між міфом та історією: автор несе цей розумовий хрест через текст, не капаючи кров'ю, аби встановити його у належному місці історико-культурної рефлексії без сторонньої допомоги.

*Ключові слова:* культура, філософія, влада, освіта, імператриця Катерина II, Марина Юріївна Савельєва.

**Андрей Александрович Пучков**, доктор искусствоведения, профессор, заместитель директора ИПСИ НАИ Украины по научным вопросам.

**О культуре и судьбах царственного любопытства: Размышление над метафорой «философ на троне», о просвещении и творческом непостоянстве.**

**Аннотация.** Статья, имеющая форму рецензии, посвящена размышлениям над текстом монографии доктора философских наук Марины Савельевой «Философ на троне: Штрихи к портрету Екатерины Великой» (К., 2006). В частности, показано, что, стоя у распахнутого Петром «окна», Екатерина не только вдыхала просвещённый воздух Европы, к концу её царствования пахнувший свежей кровью французского короля, пылью площадей и гарью Бастилии, но и сама в себе пыталась преодолеть навозный воздух наивной, докритической умственной стихии, постоянно обдаваемой тяжёлым духом народного примитивизма. Кант, формулировавший вечную правду просвещения и связывавший с ней учение об автономии, появился в спёртом воздухе Европы, когда время Екатерины было в зените. Россия в книге М. Савельевой — априори полупросвещённая Просвещением — распята между мифом и историей: автор несёт этот умственный крест через текст, не капаю кровью, чтобы установить его в нужном месте историко-культурной рефлексии без посторонней помощи.

*Ключевые слова:* культура, философия, власть, просвещение, императрица Екатерина II, Марина Юрьевна Савельева.

*Andriy O. Puchkov*, DSc in Art Studies, Prof., deputy director for scientific affairs, the MARI

**On Culture and the Fate of a Royal Curiosity: Reflections on the “Philosopher on the Throne” Metaphor, on Education and Creative Inconstancy**

**Summary.** The article in the form of a review is inspired by the “Philosopher of the Throne: The Accents to the Portrait of Catherine the Great”, the monograph by Marina Savelyeva, PhD. Namely, it depicts, how Catherine, standing by the “window to Europe”, opened by Pieter the Great, not only breathed the enlightened European air (that by the end of her rule smelled with the fresh blood of the French king, with the dust of the city squares and burning Bastille), but tried to overcome in herself the dung air of naïve, pre-critical intellectual element, constantly blown round with the rough spirit of folk primitivism. Kant, who formed eternal truth of En-

lightenment and linked his theory of autonomy with it, emerged in the close air of Europe, when Catherine's era was at its height. In the book by Marina Salelyeva Russia (a priori half-Enlightened by the Age of Enlightenment), appears to be crucified between myth and history: the author bears this intellectual cross over the whole text, not leaving blood behind, just to position it in on her own at the right place of historical and cultural reflection.

*Keywords:* culture, philosophy, power, education, Empress Catherine II, Marina Y. Savelyeva.